



ОТ СТАЛИНГРАДА ДО ДНЕПРА

ЯУА
МОСКВА

УДК 94(470) "1941/1945"

ББК 56.14

А13

Абдулин, Мансур Гезатулович.

А13 От Сталинграда до Днепра / Мансур Абдулин ; после-
словие Алексея Исаева. — Москва : Яуза-пресс, 2026. —
288 с.

ISBN 978-5-9955-1273-8

Эта книга – уникальный взгляд на солдатский труд без прикрас. Ее автор участвовал в ключевых операциях Красной Армии: в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Украины, где был тяжело ранен. Мансур Абдулин описал год на фронте Великой Отечественной — от осени 1942 года до форсирования Днепра в 1943-м. Он начал службу рядовым пехотинцем на передовой под Сталинградом, где средняя продолжительность жизни составляла всего две недели, а свой первый боевой выстрел произвел сразу же после переправы через Дон и клятвы выполнить приказ «Ни шагу назад!». Мемуары М.Г. Абдулина полны точных деталей фронтовой жизни и механики войны. От тяжелейших боев с гитлеровцами, изнурительных маршей в пургу под обстрелом реактивных минометов и боестолкновений на нейтральной полосе до ожесточенных схваток с врагом на плацдарме «Остров смерти» на Украине. Послесловие к книге написал известный военный историк Алексей Исаев.

«Мансур Абдулин своими глазами увидел три решающих сражения Великой Отечественной войны. Для рядового солдата боевых подразделений, идущего впереди под огнем орудий и пулеметов, пережить сразу три крупные битвы было большой удачей. Он выжил в их пламени и смог нам о них рассказать...» (Алексей Исаев, кандидат исторических наук)

УДК 94(470) "1941/1945"
ББК 56.14

ISBN 978-5-9955-1273-8

© Абдулин М.Г., 2026
© ООО «Яуза-пресс», 2026

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО ДНЕПРА

Война, фронт — это выстрелы. Из минометов, пулеметов, автоматов, артиллерийских орудий... Свой первый боевой выстрел на войне я произвел 6 ноября 1942 года на Юго-Западном фронте из самозарядной винтовки «СВТ».

Было так. Накануне у нас поротно прошли, как тогда говорили, «торжественные собрания, посвященные 25-летию нашей Советской страны». Мы дали клятву выполнить приказ Родины «Ни шагу назад!» и двинулись через Дон на правый берег. Дон был тихим, переправились мы благополучно и почти бегом углубились в балку на высоком правом берегу.

«Под ноги!» — то и дело слышится команда, для нас, минометчиков, полная конкретного жизненного смысла. Минометчики навьючены лафетами, стволами, плитами. Просто упади, споткнись — и по инерции, если движение быстрое, железо расплющит твой затылок.

В дальнейшем мне не раз приходилось видеть, как тяжелые вьюки добивали упавшего легко раненого бойца. Мы снимали с убитого товарища вьюк и мчались дальше. Я как комсорг роты, а затем и батальона следил, чтобы у погибшего комсомольца забрали все документы, а особенно его комсомольский билет.

Перепрыгиваем через какие-то мешки или кочки, в темноте не видно, что у нас под ногами. Угнета-

ет смрадный запах. Бегом от него, вперед, вперед! В небе повисла фиолетовая ракета и осветила... лица трупов. Лежали тут и немцы, и наши...

Ракеты зачастили. Украдкой поглядываю на товарищей: видят они? Да, видят. Но лица у всех невозмутимые, никто не охнул, не выматерился даже: мол, война, она и есть война, дело привычное. А чего там привычное! Мне самому только-только исполнилось девятнадцать, и другим, я знал, немногим больше, а опыт у всех одинаковый — училищные стрельбы в Ташкентском пехотном по ускоренной программе. Прыгаю через трупы и краем сознания успеваю удивиться: как же быстро человек приспосабливается к тому, что в воображении порой и уместиться не может. И в том же краешке сознания нашлось место странному в этой обстановке чувству — я был удовлетворен собой. Если бы и на меня кто взглянул, как я поглядываю на лица товарищей, он бы и на моем лице не прочел ничего, кроме общего для всех выражения сосредоточенности. Оказаться «как все», то есть не хуже других, на войне — это вроде как получить подтверждение своей полноценности. Большое дело для самоуважения. Как я ни был потрясен картиной, открывшейся в фиолетовом свете ракеты, — вот они, внутренности войны, реальная обстановка, из которой шлют извещения: «Погиб смертью храбрых...», — я, как и все, делал то, что нужно, старался не споткнуться, не выпрямиться на свист пули... Последние метры бежим внаклон чуть не до земли — балка стала мелеть, и пули свистят совсем низко, — и вот я спрыгиваю в траншею исправным солдатом: жив, нигде не трет, не жмет, вещмешок и личное оружие при мне, немного отдышаться — и готов стрелять, как только прикажут.

— Что так долго?.. — несется нам навстречу с хриплым матерком, и фронтовичков выдувает из траншеи как ветром. Они призраками — вместе со своими минометами, «максимами» — прошмыгивают мимо нас в балку, из которой мы пришли.

Не знаю уж, какой встречи я ожидал. Не собрания, конечно, как на проводах с того берега. Но столь молниеносное исчезновение прежних обитателей траншеи кольнуло. Наверное, я рассчитывал, что «старички» хоть немного побудут с нами, покажут, что нам тут делать, как воевать.

— Чудак! — смеется мой командир расчета Суворов Павел Георгиевич. — Им тоже надо затемно Дон перемахнуть. Да успеть подальше уйти в наш тыл, чтоб фрицы не заметили.

Добродушный этот смешок Суворова окончательно убедил: все, с этой минуты, как мы сюда спрыгнули, мы — фронтовики. И как бы ни сложилась ситуация в каждую следующую минуту, никто уже не вспомнит и не учтет, что мы всего лишь бывшие курсанты пехотного училища.

Удивительно, как работает в человеке инстинкт самосохранения. Ведь небось каждый переживал состояние, подобное моему, а уже слышалось от связистов: «Я Затвор, как меня слышите, прием». Батальонные артиллеристы волокли к пушкам ящики со снарядами, на бруствере выстроились «максимы», которые пулеметчики принесли с собой. В нашей роте минометы тоже в полной боевой, и мы с Фуатом Худайбергеновым — я в расчете Суворова наводчик, а Фуат заряжающий — пристроили лотки с минами возле своего миномета. Уж раз война, надо каждоминутно быть ее исправной единицей, это первое дело.

Ну вот, руки сделали необходимое, можно оглядеться. Траншеи несвежие, бока порядком обтерты.

— Значит, давно тут стоим, — поделился соображением Макаров Николай, из соседнего расчета; все боевые расчеты в нашей роте сформированы с училища.

— Или у немцев отбили, — возражает Козлов Виктор.

Голоса у обоих спокойные, будто век воевали.

В небо то и дело, освещая дно траншеи, взлетают немецкие ракеты, не умолкает пулемет.

— Нашей ночной атаки боятся, — усмехнулся Конский Иван, и в глазах его, на мгновение блеснувших в мертвенном свете, я поймал окончательно успокоившую меня уверенность.

Бутейко, наш командир роты, старший лейтенант, уже отправил кого-то дежурить на наблюдательный пункт, а меня предупредил, чтоб готов был сменить дежурного на рассвете.

— Что, Мансур, не жарко теперь тебе? — по-татарски спрашивает подошедший вместе с комроты его заместитель по политчасти младший политрук Хисматуллин Фаткулла, в мирной жизни учитель истории, дотошно каждого из нас расспрашивавший, где кто родился да кем хотел стать, — для будущей, как он говорил, книги.

— Спрашиваю, не жарко ему теперь? — переводит он для Бутейко и всех.

Ну, все и рады погоготать. Дело в том, что я, сибиряк по рождению, на училищных стрельбах пару раз хлопался в обморок от ташкентской жары... Боялся даже, что спишут...

Стали вспоминать, как в училище гимнастерки от соли и пота отстирывали каждый день, и располза-

лись они у нас каждые две недели... Как мечтали: «Скорей бы на фронт!»

— Вот мы и на фронте, — подытожил Бутейко, взглянув на часы. — Теперь не забывайте, чему вас учил.

А учил нас боевой и опытный комроты — он был на войне с первых дней, — чтобы, помимо прочего, мы как можно чаще дополнительными зарядами прочищали стволы минометов от пороховых остатков. По засоренному стволу мина продвигается медленно, и следующая при ведении беглого огня, посланная до выстрела предыдущей, может взорваться в стволе...

— Отдыхайте пока, — велел Бутейко, и они с Хисматуллиным, пригибаясь, ушли дальше по траншее.

Сергея Лопунов немедленно потребовал у Фуата иголку с ниткой, а Кожевников Виктор — листок бумаги и карандаш... Надо сказать, что в вещмешке нашего с Суворовым заряжающего всегда было все, что требуется человеку: иголки, нитки, шнурки, пуговицы, ножнички, бритва, вазелин, мыло, сапожный крем, щетка, йод, бинты — большой аккуратист Фуат. И никогда не сидел без дела. Вот и сейчас, пока мы занимались воспоминаниями, он успел пришить распоровшуюся подкладку своей шинели и уже осматривал покосившийся каблук на ботинке Николая Макарова. И портным он был отличным, и сапожником, и поваром, и, если приходилось, кузнецом и плотником. А хлеб, сахар или там махорку в нашем взводе никогда не делили по методу, когда один, взяв пайку, спрашивает: «Кому?», а другой, отвернувшись, отвечает: «Иванову, Петрову, Сидорову...» У нас Фуату доверяли разделить, и потом каждый

брал с плащ-палатки любую из сорока паек, уверенный, что все они одинаковы. Фамилия Худайбергенов по-русски означает «божий дар». По отцу Фуат был татарин, а по матери — узбек. Сильный, крупный парень — мой одноклассник. Неразговорчивый. Но когда приглашал всю роту на плов после Победы — откуда только бралось красноречие! Все были вынуждены клясться, что приедут к нему в Ташкент. Мне клясться было сподручней, чем другим: незадолго до войны отец перевез нашу семью из Сибири на рудник Саргардон в Средней Азии — домой все равно через Ташкент ехать...

Про все про это я, по примеру большинства товарищей, нацарапал домой письмо, надписал адрес: «Южно-Казахстанская область, Бостандыкский район, кишлак Бричмулла, Абдулину Гизатулле», и обратный: «Полевая почта 1034». (Через сорок с лишним лет, когда я возьмусь записать на бумаге пережитое, сотрудники архива Министерства обороны СССР, взглянув в дивизионные — 293-й дивизии — документы, с некоторым удивлением подтвердят: да, почта в наш 1034-й стрелковый полк — до преобразования его в феврале 1943 года в 193-й гвардейский — шла под номером полка.)

Бросил треугольник в общую кучку, и вот тут — до дежурства оставалась еще пара часов — от нечего, как говорится, делать одолела меня дума, имя которой — страх. Вон Иван Конский спит и небось во сне свою родную Смоленщину видит, а в моей зрительной памяти назойливо держится картинка, увиденная в балке: фиолетовые лица трупов. С трудом удалось вытеснить увиденное воспоминаниями детства.

Я родился в шахтерской семье 14 сентября 1928 года в девственной и дремучей тайге, в таштаголь-

ском поселении Сухой, в котором проживали с незапамятных времен вместе с коренными таштагольцами беглые и не беглые татары, эстонцы, венгры, немцы, русские староверы и киржаки, а также и казаки — пугачевцы, у которых у каждого была своя вера, свой бог или идолоподобный божок. Например, у наших уважаемых русских соседей по улице были свои боги: у одних «дырка» в углу дома в горнице, а у других стоит во дворе молодая лиственница, обвешанная разным тряпьем, которую они считают «священной» и на нее молятся. «Через ту дырку люди общаются с Высшей Силой»...

Люди, имея своих богов и с разными своими уставами и правилами поведения, жили в мире и согласии. Объединяло их и общее суеверие, которое заключалось в том, что над всеми ими есть Высшая Сила, жестоко карающая «худых» людей. Местные поселенцы независимо от национальности и разной веры роднились между собой и таким мистическим понятием — «хозяин» тайги, реки, горы, озера, болота, шахты, охраняющий свои владения и богатства. Кто посмеет сотворить «худое» дело, ОН такого человека непременно «изничтожит, не оставив и следа»...

Мои родители были «приезжими со стороны» и свободными от всякой религии «партейцами», но пользовались среди местных поселенцев авторитетом, как единственные грамотные люди. Отец работал «штейгером» в шахте и как «партейный» был слушателем «рабфака», а мать, хоть и была малограмотной, учила местных людей хотя бы расписываться. Я рос среди местных сверстников и взрослых и сформировался среди них как личность. Поскольку все окружающие меня люди были очень разными —

были среди нас «худые», а также и «добрые», я впитал в себя буквально все человеческие качества — как положительные, так и отрицательные.

Отделять плохое от хорошего помогала мне врожденная способность к самоконтролю, благодаря которой я, независимо от моего желания, действовал безошибочно в любых экстремальных и не экстремальных ситуациях. Я только теперь, когда оказался недалеко от финиша своей жизни, понял, что «самоконтроль» и есть та самая Сверхъестественная Сила Высшего Разума.

Я родился, когда российское самодержавие развалилось, а потом остатки ее военных сил были разгромлены в Гражданской братоубийственной войне, а новая Советская власть только что родилась и переживала затяжной и хронический голод, сопровождающийся страшными болезнями — тифом, холерой, чахоткой, черной оспой, когда покойников некому было хоронить, когда бабы хоронили своих детей без слез и не скрывая свою радость от того, что избавляются от «лишних ртов», когда многие взрослые и даже дети всякими способами лишали себя жизни. Я нередко видел, как от постоянного голода моя мать от безысходности впадала в истерику и, обезумев, кричала: «Удавлюсь! Убегу от вас (это от меня, младшего братишки и отца) куда-нибудь!»...

Она не от хорошей жизни, не стесняясь меня и братишки, завидовала своим подружкам, которые уже похоронили всех своих детей. Я, несмотря на то что был трех-четырёхлетним, понимал ее и не обижался. Я вымаливал у Высшей Силы, о которой я уже знал, чтобы Он дал моим родителям здоровья и чтобы «хозяин» шахты уберег моего отца под землей.

А оттого, что я был «дармоедом», мне было стыдно и я старался терпеть болезненный голод и не плакать. Как-то наш «фершап», осмотрев и прослушав меня, сказал моей мамке: «Ваш сынок ничем не болеет, но он страдает малокровием и поэтому слабый, а лекарство для него — хорошее питание!» С тех пор мне стало страшно порезать палец, Я пугался не на шутку, думая, что умру от последней капли крови, а мамка обрадуется, избавившись от «лишнего рта»...

К моим родителям часто приходили «на огонек» поселенцы, как к единственным грамотным людям — «партейцам», со своими наболевшими проблемами. «Скажи-ка, товарищ Абдулин, как партеец, прямо! Есть бог, аль нету иво?!» Затаив дыхание, дожидаются ответа. «Бога, к моему сожалению, нет. Но так как людям всегда требовался сильный, всезнающий и всевидящий, справедливый и карающий благодетель, они его придумали, чтобы на земле всем было хорошо». После таких слов у слушателей глаза чуть не выпрыгивают из орбит. Но отец тут же их успокаивает: «Но над человечеством вместо бога есть Высшая Сила Разума! Она нами правит и не даст своему народу заблудиться и погибнуть!» Это действовало на всех успокоительно и давало надежду на хорошее будущее. Люди согласно трясли своими бородами: «Так-то можно ишшо жить, а совсем без веры не можно будет». И, низко откланиваясь, задом выходили из избы...

С ранних дошкольных лет я любил и до сих пор люблю рисовать, пилить и строгать, придумывать и делать разные забавные игрушки, а в школьные годы я ловко мастерил деревянные лыжи и коньки, замораживал «коровяк» для катания с горки. Мои

скворечники-теремочки очень нравились скворцам, которые устраивали свои петушинные драки за владение...

Я активно участвовал в авиамodelьном и планерном кружках. В свои двенадцать лет я имел значки «БГТО», «Ворошиловский стрелок» и с ружьем бегал в тайгу «на рябчиков». Я мечтал стать художником, артистом, горным штейгером, фотографом, летчиком, шофером и красным командиром! Однажды я изготовил деревянный фотоаппарат, но у меня не было для объектива хотя бы стекла от очков, и я прожег раскаленным шилом круглое отверстие и, изготовив при помощи золы матовое стекло, случайно обнаружил, что на определенном расстоянии от «объектива» на нем довольно ясно появилось изображение моего волкодава-кобеля, который случайно подвернулся перед моим фотоаппаратом, но вверх ногами! Население прииска, узнав про мою «аказию», взволнованно и с восторгом то и дело меня славил «до небес»: «Мансурка-то Абдулин, энтот зимогор, однако молодец! Придумал антиресну аказию, катора всех баб и девок переварачиваит вверх ногами, а юбки-то у них спадывают на головы! А тады у их можна разглядывать! Штанов-то у них нету-ти?! Ха-ха!..» А девки и бабы, завидев меня с «аказией» в руках, в панике и с диким визгом мигом исчезают кто куда. Но однажды они напали на меня из засады, свалили на землю, «аказию» отобрали, разбили мне нос и чуть было не оторвали мне уши...

Однажды я, как самый талантливый и постоянный участник художественной самодеятельности, получил в каком-то спектакле главную роль белогвардейского офицера, который изуверски раскаленными кузнечными щипцами пытается на допросах на-

ших пленных красноармейцев — коммунистов, а затем расстреливает их... Спектакль был сорван потому, что наши пацаны-зрители, сорвавшись со своих мест, ворвались на сцену и с ревом «Бей беляка!» жестоко избили меня, как «всамделишного»... Тогда мне отбили не только печенку, но и охоту быть артистом... А за то, что я хорошо рисовал на дефицитных тетрадках, отец «разрисовывал» своим сыромятным ремнем мою голую задницу так, что я целую неделю лежал на полатах на животе без штанов, демонстрируя ее тараканам...

Мое детство прошло на Миасских приисках. Я, как и все наши пацаны и даже девчонки, все лето и «от зари до зари» промышлял золотишко, промывая глинистые комья с песком в обыкновенном железном тазике или в старательском ковше. За добытое золото я каждый год обновлял свою обувь и одежду. Так я заработал себе сверкающий «лисапед», патефон и ружье.

В 1940 году за возможность получить хлебную карточку я бросил школу и пошел на работу в шахту коногоном — откатчиком вагонеток. А 22 июня 1941 года грянула война. Как шахтер-горняк я был забронирован от мобилизации, но добился отправки на фронт. Четверо друзей — Коняев Коля, Ваншин Иван, Карпов Виктор и я, мы явились в Бостандыкский райвоенкомат, доказывая военкому, что не такие уж мы опытные шахтеры, чтобы нас бронировать от фронта. «Броня Комитета Оборона! — твердит военком. — Не могу и не имею права!» Пришлось — смешно вспомнить — пригрозить, что взломаем ночью магазин, чтобы отправили нас хоть в штрафной батальон, а на суде дадим показания, что майор Галкин не хотел отправить на фронт по-хорошему...

Смог-таки майор Галкин: куда-то позвонил, с кем-то согласовал — и вот мы голышом перед придирчивой комиссией, набирающей курсантов в авиационное училище. Приняли только двоих из нас — моего самого близкого друга Коняева Колю и Виктора Карпова. Мы с Ваншиным — снова в военкомат, и в тот же день поехали: Иван — в Чирчикское танковое училище, а я — в Ташкентское пехотное имени В. И. Ленина... Конечно, я им завидовал, да только уцелеть в той войне удалось только мне — пехотинцу.

После успешного окончания пехотного училища им. В.И. Ленина меня, отличника, как дома в шахте забронировали от отправки на фронт, оставив на преподавательскую должность. Кое-кто из друзей завидовал мне, а многие ехидничали: «Он очень хотел в действующую армию, но теперь посмотрим...» Между тем я пошел на авантюру — уговорил другого отличника по фамилии Такцер, чтобы он сейчас же съел обмылок хозяйственного мыла, чтобы оказаться в медсанчасти и откосить от фронта. Его прошиб понос, а я явился к комиссару училища с предложением: «Оставьте себе Такцера, а меня включите в список откомандированных в действующую армию!» Все мои однокашники обрадовались мне как лучшему запевале, и я был назначен ответственным за нашу группу численностью 700 новоиспеченных младших лейтенантов.

По прибытии в дивизию всех моих товарищей распределили по полкам, а меня оставили в штабе, в резерве. Но я не хотел отставать от моих друзей и напрасно требовал распределения в любой полк. «В армии нет «не хочу», «не могу», «не умею» — таков был ответ. Во время моего очередного дежурства по штабу меня вызвал комдив. Разрешив не докла-

дываться, он усадил меня слишком любезно и даже пододвинул свою пачку папирос «Казбек»:

— Кури.

Я давно заметил, как он присматривается ко мне, словно цыган на конном базаре на облюбованного коня. Я не посмел закурить перед генералом и настороженно приготовился к самому худшему, так как я уже был в курсе, что он подыскивает себе личного адъютанта, а он, как всегда, «под мухой», и я еле сдерживаюсь, чтоб не сделать ему замечание. Он уверенным хозяйским тоном, еле шевеля опухшим языком, бормочет, упершись в меня своими бычьими глазами:

— Сегодня я решил подписать приказ о твоём назначении моим личным адъютантом. Твоим прошлым и характеристикой я доволен и хочу услышать твоё согласие.

— Я прошу вас отправить меня в полк 1034, где мои друзья.

— Не ожидал, не ожидал я, чтобы ты отказался. Неужели ты не понимаешь, что на «передке» нет романтики, а там мясорубка! Соглашайся! Не пожалей! Не забуду о наградах и об очередном звании... Ну, подумай хорошенько. Я тебя не обижу...

— Нет, товарищ генерал, я не умею чистить сапоги, а умею воевать. — Сказал как отрубил.

— Почему? — У него высоко взлетели лохматые с проседью брови и долго не опускались.

— Я поклялся друзьям воевать вместе.

— Да на твоём месте любой твой друг не отказался бы!

Так я оказался на «передке» вместе с моими одноклассниками. Я обратился к полковому комиссару, чтобы он помог мне побыть рядовым, так как я стес-

няюсь командовать солдатами, по возрасту годными мне в отцы, объяснив, что хочу сначала «нанюхаться пороху». Моя просьба была удовлетворена — лейтенантов хватало. Знал ли я, что иду навстречу смерти? Знал. Воображение еще не представляло конкретной картинки, увиденной на дне балки в фиолетовом свете ракеты... Но непостижимое существо человек! Окажись я сию минуту за тысячи километров от этой балки в моем цветущем кишлаке Бричмулла на Чаткале — снова пойду-побегу в военкомат стучать кулаками, чтоб отправили сюда. Вот ведь штука: и умирать не хочется, и жить не вмоготу, если нечиста совесть. Истерзала меня в шахте мысль: а что я стану говорить, когда кончится война? Что в тылу тоже были нужны кадры, особенно на шахтах оборонного значения? Нужны. Да каждому не объяснишь, всем не докажешь. Девчонок и тех берут на фронт... Но как не хочется погибнуть! Как невыносимо страшно стать трупом в балке, освещаемой фиолетовым светом ракеты...

На этой мысли меня оборвал Суворов, которому, видимо, тоже не спалось.

— Что, Мансур? — спросил он. — Трусишь? Как под дых ударило. Да ладно, не стесняйся, — подмигнул он. — Все трусят.

Я честно признался, что ничего подобного за ребятами не заметил.

— Дык виду не показывают, — добродушно объяснил Суворов и опять мне подмигнул заговорщически. — И ты не показывай. Держи хвост пистолетом!

Мне стало интересно: Суворов лет на семь меня старше, до войны служил в кадровой, в Первом Московском полку, и воевал с первых дней, даже орден

Красной Звезды уже был у него, и я спросил: неужели и он трусит?!

— А по-твоему, я жить не хочу? — Он улыбнулся. — Да что поделаешь, Мансурчик, «мы их не звали, а они приперлися» (слова популярной песни), пространство им подавай! Наше с тобой. Сверхчеловеки они, понимаешь? Мы им годимся разве что сапоги чистить. Как тебе это? Один разговор с такими — драка. Масштабная драка. Не в стороне же стоять... Уж тут боись, не боись...

Рассветало. Немецкие пулеметчики притихли. И ракет не стало — ночь кончилась.

— Ну, пойдем, провожу тебя, — сказал Суворов.

Ячейка наблюдателя была хорошо замаскирована. Суворов поглядел в перископ, подвинулся, уступая мне место, и какое-то время стоял так, задумавшись.

— Метров триста до них, — сказал он. — И солнце им в глаза.

Потом пожелал ни пуха ни пера и ушел.

Солнце им в глаза. Значит, мне смело можно высматривать расположение противника. Я установил на своей самозарядной винтовке постоянный прицел, загнал патрон в ствол, приложился к прикладу и примерился. Все готово. Переднего края фашистов как будто и нет совсем. Понимаю, что они лишний раз не хотят себя обнаруживать, поэтому я их и не вижу.

Наблюдаю терпеливо, знаю, что они здесь, а в голове мелькают мысли разные. Некстати вспомнилась тайга в далеком детстве, свежий затес на лиственнице — мишень, березовый сучок с развилкой, вбитый в землю, установленное на нем тяжелое охотничье ружье — меня, восьмилетнего, отец учит стрелять. «Подходи и целься вот так!» Отец показал мне, как

целиться, и я, растопырившись, вцепился в ружье. Мушка и цель совместились сразу. Торопясь — «в тайге надо быстро стрелять, рябчик ждать не будет, улетит!», нажимаю на курок. Но выстрела нет. Я подумал, что сил у моего пальца не хватает. Как бы отец не заметил этого да не отложил обучение на потом, когда подрасту! Жму на неподатливый курок с таким усердием, что надуваюсь, как бычий пузырь. Отец поторавливает ласково: «Хватит целиться, стреляй!» Жму, жму, сейчас лопну от натуги... Неожиданно прозвучал оглушительный опозоривший меня звук, напоминающий треск, с которым рвется брезент, из которого шьют шахтерам спецовки. Это рассмешило отца так, что он даже присел, и я увидел все до единого его крепкие и белые зубы, так сильно он закинул назад голову, хохоча... Потом я узнал от него, что жал на скобу, а не на курок, и выстрелы потом получались такие отличные, что не успевал отец заряжать патроны. Радовался успеху я, а больше отец...

Волновало ли меня, что не за рябчиком теперь охочусь, что собираюсь убить человека? Сказать по правде, думал я совсем о другом. Вспомнилось, как две недели назад, после того как наша дивизия торопливо погрузилась в эшелоны (1034-й полк грузился на небольшой станции Колтубанка) и взяла направление на фронт, в пути наш эшелон попал под бомбежку. Машинист наш то резко тормозил, то мчал вперед; бомбы в состав не попали, но, пройдя на бреющем полете, немецкие самолеты довольно метко «прошили» вагоны из пулеметов. Дым тола и угля, запах горелой земли, кровь убитых и раненых, стоны... Все это я увидел, услышал, вдохнул, когда до фронта еще были сотни километров. Многие мои товарищи погибли, не успев убить ни одного гитле-

ровца. Неужели и я так? Даром? Буду убит? Что же это такое?! Для этого я, что ли, с такими трудностями шел к своей цели — попасть на фронт, — чтобы умереть, не увидев своего врага?

Сколько ни всматриваюсь — ровная степь до самого горизонта. Ни звука, ни движения. И вдруг что-то шевельнулось впереди. Сердце мое заколотилось. Свою винтовку я пристрелял хорошо и в ста метрах могу продырявить консервную банку... Сразу стало жарковато... По мере приближения цель увеличивается. Немцы. Идут по траншее. Сколько их? Несут по охапке соломы на ремнях через плечо. Вот повернули, и сразу стало видно, что их трое. Теперь они идут по своей траншее вдоль переднего края. Надо скорей стрелять! Я решил целиться в среднего. Но что это? Не могу совместить прорезь, мушку и цель. Найду цель и мушку — прорезь теряю. Найду прорезь — теряю мушку. Вспотел, глаза потом заливаает, винтовка ходуном в руках... Убедившись уже, что будет промах, нажимаю на курок. Тишину нарушил тупой звук выстрела. Немцы исчезли разом, а я медленно, как смертельно раненный, сползаю на дно ячейки... Как же я возненавидел себя в ту минуту! Размазня! Упустил такую возможность! Понял, что причина моего страха, трусости даже — в угрозе моей дармовой для фашистов смерти. Хотя бы одного из них успеть убить! Чтобы квитым быть заранее. От этой-то мысли, от этой-то спешки и затрясло всего, едва увидел их на расстоянии выстрела. Эх, растяпа! Все это, конечно, в считанные секунды, пока сползаю на дно, проносится в моей голове... С почти равнодушным лицом встаю и вновь припадаю к прикладу моей винтовки. Ну где там мои фрицы? Скрылись, конечно. Да нет, еще бегут, согнувшись ниже

и с большими интервалами, по своей траншее. Вот сейчас добегут до места и скроются. «Ну, теперь-то и вовсе не попасть», — мельком подумалось. Прорезь, мушка, цель — странное дело, никакой «пляски», все на месте. «По движущейся цели с опережением...» Делаю опережение на пару сантиметров перед средним фрицем и плавно нажимаю курок.

Передний фриц, совсем согнувшись — только тючок с сеном мелькает, — продолжает бежать, а второй остановился, выпрямился во весь рост, голова его неестественно дернулась назад, и он, винтом крутнувшись вокруг себя, нырнул вниз, как тряпчатый. За третьим я просто не уследил, замороженный медленным поворотом на месте второго. «Никто из наших не поверит, что я убил фашиста!» — каюсь, это первое, что пронеслось в голове. Только что осыпавший себя самыми бранными эпитетами, теперь я преисполнен непомерной гордости: «Эх, кабы видел кто из наших!»

И вдруг слышу:

— Молодец, Абдулин! Молодец! Ты, кажется, комсорг в своей роте?

Смотрю, а это сам комиссар батальона капитан Четкасов. Опустил на грудь бинокль, улыбается:

— Ты в батальоне первым открыл боевой счет!

Оказывается, он услышал, что кто-то стреляет, подполз и увидел, как я со второй попытки уложил немца.

Часом позже от Четкасова узнал, что и в полку я первым открыл боевой счет и представлен за это к медали «За отвагу».

Сказать откровенно, потом доводилось мне совершать поступки более значительные и в более сложных условиях, чем этот мой первый уничтожен-